



## Б. ЭНГЕЛЬГАРДТ

### В пути погибший

...Я вдаль взгляну  
И вскрикну: — Бог! Конец пустыни!

*Ante lucem*

Еще не время говорить о нем с историко-литературной точки зрения. Незримое творчество истории не успело еще наложить на него свою печать, и тот лик, с которым он, освобожденный от всего случайно-злободневного, начнет свое шествие сквозь дым столетий, еще не ясен и самому пытливому взору.

Но одно сделала уже для него смерть. Она окончательно поврала ослабевавшие в последнее время цепи, приковавшие его к определенной поэтической школе. Уже нельзя говорить об Александре Блоке как представителе известной литературной партии, литературного кружка, группы людей, объединенных общим политическим и религиозно-философским канонам. Исторгнутый из круга жизни, он стал просто русским поэтом и вступает в наше сознание как новый вечный спутник, властно притязуя на особое место среди старинных знакомцев. И в душе невольно рождается вопрос, кто же он, этот новый гость среди испытанных друзей и наставников, — откуда он пришел и в чем его право на место среди избранных.

Конечно, ответить на такой вопрос мы, его современники, в состоянии только за себя и для себя, но сделать это необходимо, — необходимо уже потому, что, не уяснив себе значения поэзии Блока, мы не можем вообще ориентироваться среди явлений поэтической жизни текущего дня и ближайшего будущего. Ибо он — та вежа и тот маяк, на который и от которого будет долгое время совершаться все литературные движения.

И вот присматриваясь пристальнее к его лику, мы должны прежде всего отметить одну черту его поэзии, которая даст нам

указание, куда идти дальше в поисках решения поставленной нами задачи. Мы имеем в виду огромный диапазон его творчества. Такого широкого творческого размаха давно уже не видела русская литература. Его поэзия стремится уловить в свои сети все содержание жизни, усвоить художественному слову явления самых различных порядков. Его поэтический интерес одинаково привлекают —

пустынные веси  
И колодцы земных городов;  
Осветленный простор поднебесий  
И томления рабьих трудов<sup>1</sup>.

Красногвардеец и Прекрасная Дама, проститутка и схимник, рабочий и утонченный эстет, Россия, как она есть, и бретонский жонглер — все в поле его художественного зрения, ко всем в творческой тоске устремляется его душа. Он воскрешает давно забытое нами слово о Поэте-Эхо и ведет переключку со всем миром, и не только миром здешнего земного бытия, но и с пребывающим там, за пределами эмпирического созерцания, с миром Вечного, зовам которого он напряженно внимает.

И если мы примем в соображение, что повсюду, во всех своих темах: религиозных, философских, лирических, национально-патриотических, социальных и т. д. и т. д. — он достигает одинаково высокого художественного совершенства, то мы поймем, что перед нами прошел поэт, творческий гений которого не мог удовлетвориться иначе, как подчинив себе все многоцветное содержание жизни, — обретя возможность замыкать в художественное слово любой факт своего бесконечно богатого опыта.

Здесь ключ к пониманию жизненного подвига Блока, его великой тоски, его упорных тревожных исканий. Потому что не всякое созерцание сразу же усваивается слову и в особенности слову поэтическому. Чтобы достичь той степени духовности, при которой оно становится приемлемым в качестве значения такого слова, содержание опыта должно подвергаться многообразной переработке. Поэт должен найти тот угол зрения, при котором известный объект оказывается доступным художественному преобразованию. Выражение: поэтическое мирозерцание и миропереживание — не простая метафора, но полно глубокого смысла. Оно означает ту особую форму теоретического и практического созерцания мира, которая обуславливает возможность перехода субъективного и объективного содержания сознания в значение поэтического слова. Мир должен пози-

ровать художественному слову, и поставить его в такую позу и значит создать поэтическое мирозерцание.

Если творческий кругозор поэта односторонне ограничен, то его миропереживание только по местам подвергается такому преобразованию, конструируясь в целом по совершенно иным нормам. Вот почему мы нередко можем встретить в литературе глубоко материалистическое, чувственное миропереживание, которое просветлеает как бы пятнами — там, где оно захватывается поэтическим словом. Но если творческий размах поэта стремится объять и отразить в слове все содержание жизни, — тогда становление его мирозерцания совершается под знаком прекрасного, слова и мы имеем дело с поэтическим воззрением на мир.

Александр Блок и был таким поэтом. Созерцать мир значило для него уготовлять воплощение мира в художественном слове. В этом и был его жизненный подвиг: завоевать для поэзии мир современного культурного сознания, открыть для поэтического слова Россию XX века так, как Россия конца XVIII и начала XIX уже была однажды открыта в прошлом. Его тоска была прежде всего творческим алканием новых художественных воплощений, его отрицание было борьбой против аморфных, крепко застывших масс непросветленного бытия, враждебного слову, — сюда, к преобразованию созерцания на встречу слова были направлены все его искания, его упорный, тревожный, мучительный труд. И замечательно, как он — слабый, неуверенный, подчас детски наивный, когда дело касалось оформления мира по внепоэтическим нормам, — сразу менялся, когда вступал на путь преобразования созерцания в целях художественно-словесной объективации: тут он является уверенным мастером и его прозрения нередко носят печать гениальности. И тем не менее он погиб на пути, не дойдя до последней цели. Слишком труден был подвиг и не по силам одному человеку.

Ведь для того, чтобы, преодолев страшную косность современного явления мира, заставить его снова легко и свободно струиться в иссыхающем поэтическом слове, наполняя его трепетом новой жизни, чтобы снова завоевать мир для слова и слово для мира, надо было прежде всего освободить мир из плена нигилистического созерцания, снять с него заклятья, наложенные религиозным отрицанием. Ибо с тех пор, как опустело небо, в глазах созерцающего чудесно и чудовищно исказился лик земли. Мир вечного духовного бытия, стоящий за миром эмпирически совершающегося, ушел из поля зрения скептика, который, взвешивая, мера и числа, переживает и созерцает

только внешнюю чувственную оболочку события; из явления была вынута его живая сущность, и оно съезжилось, сморщилось и омертвело, как ни к чему не нужная шелуха.

Конечно, этот распад и оскудение переживания мира сказались не сразу. Люди, изменив вере, долго жили в мире да еще и теперь живут старой религиозной традицией. Но поэты, — подлинные творцы из них, которые не довольствовались перепевами старого, но стремились к оригинальным творческим воплощениям, очень скоро стали задыхаться в голой чувственности новых созерцаний, изнемогая перед каменеющей материальностью современного лика земли.

Этот мертвенный, иссохший, истыканный кругом понятиями, разлагающийся на логические схемы мир, — мир Базарова — Дон Кихота позитивизма, который принимал великанов за мельницы, волшебные замки за грязные харчевни, который видел в любимой женщине (Прекрасной Даме) — роскошное тело для анатомического театра<sup>2</sup> (распластованный труп) и погиб, разлагаясь заживо, от трупного яда, в то время как за зачарованным кругом его созерцаний расцветала весна, ликовала, радовалась и переливалась чудесными огнями и красками живая жизнь, этот скудный искромсанный, косный и безмерно тяжкий в своей механистичности мир — не поддавался воплощению в слове. Содержание созерцаний не могло достичь тех ступеней духовности, когда оно легко переливается в поэтическое слово, становясь его значением. А если ценою огромных усилий, концентрируя и напрягая всю динамическую энергию звящего слова, и удавалось расплавить аморфную понятийно-чувственную массу содержаний современного созерцания мира, то, переходя в словесное значение, она сохраняла печать разложения и смерти, заражая ядом «невидимого тления» поэзию декаданса.

Источники ясного и бодрого вдохновения: живое слово и просветленное религиозным чувством восприятие совершающегося — иссякли в европейской культуре; исчезла легкокрылая радость созидания, и — благословенный дар божий — художественное творчество стало Голгофой верного рыцаря слова — поэта.

И неудивительно, если поэзия — первая подняла знамя восстания против положительного созерцания мира. Для нее это было вопросом жизни и смерти, потому что распадавшееся на чувственный образ и понятийную схему бытие становилось недоступным для претворения в поэтическом слове. Ей во что бы то ни стало нужно было расковать цепи, наложенные на явле-

ние нигилистической догмой, и вернуть земле ее прежнюю духовность — единство и полноту живого органического бытия. И она тосковала и тоскует по этой свободной, воскресшей земле, — земле «ясного, как радость, неба», — земле чуда и тайны, приносящей вертеп Неприступному, — как о своем утерянном рае.

Так перед поэзией возникла новая задача, которой она не знала раньше, опираясь на мирозерцание религиозной культуры: преобразование содержания созерцаний в значение слов стало означать для нее восстановление религиозной сущности являющегося в воззрении.

В решении этой задачи теоретически были возможны два пути. Один путь вел через новое утверждение веры в Абсолютное Начало жизни к постижению идеальной основы явления в Нем и через Него. Но этот путь прямого религиозного откровения почти невозможен для «изнуренной железом мечты» современного культурного сознания и лежит вне собственно поэтических достижений, требуя особых обетов и подвигов. Второй путь, по которому и пошла поэзия, сводился к отчаянной попытке при помощи поэтических средств пробиться сквозь толщу позитивного миропереживания к постижению трансцендентной основы являющегося и через него постепенно возвыситься до познания абсолюта.

Этот второй путь и был путем современного символизма.

Потому что, утверждая слово как символ, а под символом разумея ознаменованное сокровенной сущностью совершающегося путем особого изображения его явной жизни, — символическая школа и стремилась, не отрываясь от мира явлений, созерцать его — в значениях слов — символов — во всей полноте и единстве его двустороннего бытия. Именно в символизме и нашла свое прямое выражение великая трагедия современного поэтического слова, которое, задыхаясь среди каменеющих громад понятийно-чувственных созерцаний нигилистического сознания, бунтует и бьется и истекает кровью, пытаясь во что бы то ни стало раздвинуть тесные стены своей темницы и вырваться из душного подземелья на светлые просторы религиозного притяжения жизни.

В этом смысле символизм вполне органическое явление в развитии европейской литературы, потому что его возникновение всецело обусловлено самой природой живого слова, неизбежно восстающего из простого чувства самосохранения против скудости арелигиозного созерцания, — а то оружие, которое он применяет, — разнообразные приемы и средства поэтического

творчества. Символизм, как общекультурное явление, не пришел в поэзию извне, но целиком вышел из нее, лишний раз доказав, каким верным стражем религиозных основ культуры является поэтическое слово...

Так определились ко времени выступления Блока задачи европейской поэзии, определяя, в свою очередь, весь ход его духовного развития. Ибо было бы грубой ошибкой рассматривать его поэзию как простое отражение его религиозно-философских исканий и прозрений. Напротив, все становление его общего мирозерцания сполна подчинялось единому чисто художественному заданию: полному раскрытию современного явления мира как значения поэтического слова. Но на этот путь духовного преобразования действительности, как словесного материала, он вступил не сразу. Сюда привело его уже позднее развитие творчества. Перед рассветом, в дни юности, он скорее отходил от мира явлений, ворожбою и колдовством утверждая реальность мечты.

Та чудесная страна розовых зорь и голубых путей, звездных снов и нездешних видений, где в бездонной лазури обитает чистый и нежный, сам молодой и лазурный Бог и где впервые прозвучали песни юноши-поэта, — лежит далеко за пределами земной действительности. Это царство чистой юношеской фантазии, которая замещает своими образами явления реальной жизни, но еще не может бороться с ними и покорять их себе ради творческого преобразования. Конечная изначальная раздвоенность: «там» и «здесь» бытия переживается и юношеским сознанием, но для него она служит побуждением не к творческому преодолению необходимо сущего в целях выявления его вечного смысла и значения, но к бегству из мира явлений в мир непорочной мечты. Даже там, где эта мечта религиозна, она не устремляется к раскрытию сокровенной тайны совершающегося, и вера только помогает ей утвердить себя самую как подлинную реальность. И когда прекрасный юноша — чистый, неподкупный и строгий — восклицал на пороге жизни:

О, весна без конца и без краю —  
 Без конца и без краю мечта!  
 Узнаю тебя жизнь! Принимаю!  
 И приветствую звоном щита!<sup>3</sup> —

это было наивным заблуждением юности: не жизнь принимал он, а мечту. Жизнь только мешала ему на его голубых путях, когда он золотою межою проходил к бездорожью, где царит Прекрасная Дама. Да и сама она — его царица — непорочное

видение юношеской мистики, чистейшей прелести чистейший образец<sup>4</sup> — далека от земного мира и слишком по-земному слаба, слишком по-человечески нежна, чтоб спуститься вниз. Это не та ходившая по мукам Дева, через которую совершилось искупление мира, но гораздо более робкая, более трепетная царица, плывущая в объятьях лазурных сновидений над распротертой долу в пыли в уничтожение земель, с ее мраком, грехом и страстями, с великими страданиями и подвигами. И поэт, робко следуя за ней, строго следит, чтобы даже дыхание из тлетворного земного чертога не коснулось ее покрывала.

Так замыкается около юноши поэта зачарованный круг его мечтательных созерцаний, еще наивных, не тронутых рефлексией, не источенных едким ядом иронии. Его светлый и чистый мир трех канонических цветов юности: розового, лазурного, белого — хрупкое творенье мечты, отходящей из сферы явлений. Его царица — Прекрасная Дама, пребывающая далеко за пределами земной жизни, — чудесное воплощение юношеского влечения к бескорыстному служению, к целомудренным восторгам и преклонениям. Его молодой и лазурный Бог, вера в которого с необычайной силой утверждает мистическую реальность трепетного строя его видений, — сын в вертограде Отца, Христос до своего явления Миру, еще не прошедший тернистый путь искупления, без кровавых язв земного распятия.

Он и сам еще не явился миру и, стоя на пороге жизни, чуть следит,

склонив колени,  
Взором кроток, сердцем тих,  
Уплывающие тени  
Суетливых дел мирских  
Средь видений, сновидений,  
Голосов миров иных<sup>5</sup>.

Только порою в кристально чистых струях его песен слышится глубокая тоска и затаенная тревога, смутное предчувствие грядущих мук и отчаяния, на которые он фатально обречен своим тяжким призванием.

Ибо в своем становлении слово неизбежно приведет его на распутья, а затем сквозь сферы символического раскрытия являющегося к страшному миру возмездий. В этом смысле он уже жертва, путь которой предопределен заранее.

Бестелесный мир мечты обладает слишком разряженной атмосферой, чтобы там могло создаваться подлинно новое, живое и крепкое слово. Если, с одной стороны, слово изнемогает перед

костью чисто чувственных созерцаний, которые оно никак не может замкнуть в свое значение, то и хрупкие творения человеческой мечты слишком мало устойчивы, слишком подвижны для того, чтобы послужить точкой опоры для оформления нового слова. Подобно тому как всякое творчество есть борьба духа с враждебной ему, сопротивляющейся его стремлениям стихией материала, так и слово подлинно творится только в акте напряженного преодоления сопротивляющихся ему содержаний сознания. Но образы фантазии, произвольно создаваемые самим человеческим духом, в значительной мере лишены этой силы сопротивления, ибо она опирается по преимуществу на принудительно данный порядок чувственных впечатлений. В этом смысле надвигающийся со всех сторон на сознание мир объективного строя точно так же необходим для рождения нового слова, как и для утверждения самосознания человека вообще. Подлинное поэтическое творчество всегда должно знаменовать нисхождение слова в мир. Если поэт не в силах исполнить этого подвига, — его словотворчество становится простым многословием. В его поэзии начинают бесконечным роем кружиться вялые, слабые, однообразные слова, самый звук которых гаснет без резонанса упругих значений. Но если поэт призван, если в его поэзии осуществляется подлинное словотворчество, тогда его слово неизбежно нисходит в мир, и благо ему и поэту, если оно найдет этот мир просветленным религиозным чувством и данным в единой двойственности своего бытия, так как иначе оно и само может погибнуть перед громадами голых чувственных созерцаний и погубит как поэта, так и человека в нем.

Такова и была судьба Блока. Как только его слово, которое в первых песнях нередко звучало перепевами творений других мастеров, окрепло и возмужало, оно перестало довольствоваться кругом зыбких мечтаний, где жил, грезил и был счастлив юноша-поэт, и, утверждая себя самого, властно потянуло его на землю, подчиняя весь ход его духовного развития своей собственной особой задаче: истолкованию являющегося как поэтического символа.

Этот первый круг нисхождения слова очень ясен в поэзии Блока. Медленно, шаг за шагом, реальная жизнь по призыву слова переступала через заповедный порог призрачного царства мечты, наполняя его своими голосами, движениями и чувствами, — своим шумным нелепым весельем и острым безобразным страданием, — своими пестрыми, причудливо переплетающимися событиями и видениями. И медленно, шаг за шагом, по

воле того же слова подвигалась навстречу этой жизни мечта, стремясь не уничтожаться в вихре являющегося, не просто уступить ему место, но слиться с ним, войти в него и понять себя уже как мистическую сущность эмпирически данного.

Это не было построением мирозерцания в общепринятом смысле слова. Та задача, которую диктовало ему вдохновение, была далека от создания общих принципов и логических схем, — она была чем-то гораздо большим: утверждением мистического созерцания вещи, при котором конкретное явление вступает в сознание не только в своем внешнем понятии, в чувственном образе, но и в вечном потустороннем значении. Созерцание мира было для Блока постоянной борьбой с позитивной односторонностью его современного явления, упорным стремлением во что бы то ни стало разбить ту неподвижную, каменеющую маску, которую наложила на него нигилистическая традиция.

На выполнение этой задачи уходили все огромные силы его духа. Проходя сквозь жизнь, он с страстным вниманием вглядывался в каждое конкретное явление, зорко следил за его движениями, напряженно прислушивался к его голосам и жадно ловил все шепоты и отблески вечного, настойчиво стремясь постичь:

В обрывках слов  
Туманный ход  
Иных миров<sup>6</sup>.

И под натиском его мистического устремления коснеющая громада механистически утвержденного мира как бы сдвинулась с места и рассеялась. Тяжелые, затвердевшие массы чувственных созерцаний начали редеть, утончаться и плавиться; просветленные мистическим чувством, они снова обрели подвижность и легкость, заструились, заколыхались, зашептались обрывками слов о своих сокровенных тайнах, осуществляя символическое раскрытие мира.

Но все в этом мире было уже по-иному, чем в прежнем царстве мечты. Все изменилось — и даже Прекрасная Дама. Она не ушла, не погибла — поэт не забыл своих звездных слов, — она превратилась в Незнакомку. Из в и д е н и я, чуждого жизни, она стала «я в л е н и е м» в этой жизни. Если раньше поэт искал ее среди лазурных сновидений вне сферы земной действительности, — теперь он открывает ее в будничной обстановке города, меж пьяными за ресторанным столиком. Под его вдаль прозревающим взором сама пошлость получает печать таин-

ственности, и он умеет подметить отблеск вечного на самых убогих и серых явлениях обыденного бытия, завоеывая тем самым для слова все необъятное богатство эмпирически данного мира. Отныне в его песнях находят свое отражение и космос, и природа, и вся земная жизнь человека, его города и кладбища, его труды, и страсти, и печали, и радости. Но все это воплощается в слове, лишь поскольку оно несет глухую весть об абсолютном, обуславливает для личности касание мирам иным. И все приобретает какой-то странный, призрачный характер.

Этот космос, с его вечными повторениями и возвращениями, с поющим и воющим ветром из мировых пространств, с звездной и снежной вьюгой, несущейся в бесконечном хороводе среди мрака и холода вечной ночи; эта тихая мать-земля, с ее болотами, говорящими о великой творческой силе извечного тления, с осенними лесами, озерами и реками, сладко засыпающими в тишине умирающих злаков, с снежным сном ее светлой зимы и весенним благовестом звенящих ледоходов; эти странные города под закатным небом, отбрасывающим яркие отблески вечности в самые темные их закоулки, с пестрым населением, среди которого является Незнакомка, — и, наконец — сама таинственная и нежная человеческая душа с ее рождениями и умираниями, противоречивыми влечениями и острой тоской, — все это как-то причудливо сближается, переплетается между собой в поэзии мистических проникновений, образуя единый ритмический строй символического раскрытия мира, где все подвижно и многозначно, где каждое явление просвечивает иным бытием, поет и шепчет об иной жизни...

Если бы поэтическое развитие Блока остановилось в этот момент, если бы его слово сполна удовлетворилось в своем творческом становлении кругом символически постигаемых явлений, — даже и в таком случае он имел бы право на одно из первых мест в рядах современных европейских поэтов: с такой полнотой и яркостью выразил он в своей певучей поэзии своеобразный мир символических намеков и знаменований.

Но этого не случилось. В своем мощном самоутверждении его слово скоро перестало довольствоваться символами и также смело прорвало их замкнутый круг, как некогда круг мечты.

Дело в том, что символическое миропознание отличается такими чертами, которые не позволяют поэтическому творчеству надолго принять его за свое основание: оно не покрывает собой всего того, что должно стать достоянием слова и ставит его достижениям определенные границы, тем самым стесняя его внутреннюю свободу.

В символическом раскрытии явления постижение его сокровенной тайны должно осуществляться опосредствованно. Трансцендентное бытие не дано здесь прямо познающему духу, как в религиозном откровении, но скрыто за являющимся и только угадывается через это последнее как свое знаменование. Отсюда огромная разница между миропознанием воистину уверовавшего и символиста. Там дух идет от непосредственно познанного и утвержденного Единого к познанию совершающегося в Нем и через Него. Его внимание в этом акте целиком сосредоточено на созерцании являющегося, которое предстоит ему в единстве своего двустороннего бытия. Здесь — наоборот: познавательное деяние совершается в направлении от явления к Вечному. Там в откровении веры раскрылся над миром Великий Источник Света, и дух любовно и радостно познает вещь, озаренную его лучами, — здесь, в современном символизме, — он робко и неуверенно по отдельным отблескам («единому лучу»!) на темной вещи, которая сама по себе еще не нужна ему, старается узнать что-нибудь об Абсолютном. В символе, понятом динамически, всегда господствует отталкивание от явления к его тайне, и — в этом смысле — явление как символ — только знаменование и намек.

Но даже знаменованием и намеком оно становится лишь в созерцании мистически настроенного духа, в его творческом отклике на эмпирическую данность сознания. Сокровенная сущность вещи либо дана духу непосредственно рядом с ее явной формой, либо не дана вовсе, и тогда все смутные намеки и указания, которые дух находит в являющемся, суть его собственные темные восчувствия и движения. Строго говоря, явление как символ уже не само явление, но его впечатление в душе, утверждающей свою мистическую сущность. Только от нее оно получает печать таинственности и только для нее становится знаком вечного.

Как особая форма мистического познания, как метод — а ничем другим он и не может быть для современного культурного сознания — символизм неизбежно приводит личность к отъединению от мира, к индивидуалистическому самоутверждению. В сферах философского самопознания он толкает ее на грани солипсизма, — в сферах словесных воплощений он неизбежно вызывает импрессионизм.

Если символ не выражает уже обретенного верой познания, тогда — в акте его воплощения — слово неизбежно отходит от явления к тем едва уловимым воспоминаниям и темным восчувствиям, которые восприятие этого явления будит в мисти-

чески настроенной душе, утверждая их как основу своего значения. Строй поэтически воплощенных символов — прежде всего строй мистических впечатлений духа от обступающего его со всех сторон мира объективной данности. Поэзия символических проникновений всегда направлена к воплощению не самого являющегося, но таинственных знаков, оставляемых им в душе поэта, так что утверждаемому ею певучему и призрачному миру видений недостает того свойства объективности, по которому его можно было бы признать за непосредственное отражение данности.

И замечательно, что сам поэт остро чувствовал свою отъединенность от мира, индивидуалистическую замкнутость своего переживания реального и любил отмечать всего лишь субъективную значимость самых задушевных своих видений. Даже для него мир нечаянной радости и снежных масок, мир символических проникновений — был прежде всего миром индивидуальных мистических впечатлений, лежавшим вне круга объективно данной действительности\*.

В символическом импрессионизме нисходившее в мир слово как бы попало в ловушку. Покинув радостное царство мечты во имя завоевания конкретной реальности, оно проникло только в замкнутый круг субъективных впечатлений являющегося. Образы фантазии сменились темными восчувствиями и творческими откликами мистически настроенной души, — сама же действительность как таковая по-прежнему осталась вне творческого захвата. Конечно, и это было уже огромным успехом: символическое миропереживание нанесло решительный удар традиционной форме понятийно-чувственного созерцания эмпирически данного, но обеспечить слову полную победу над миром оно не могло. Символизм сумел освободить слово из царства оторванных от жизни мечтательных видений, но, будучи формой только опосредствованного познания сокровенной тайны сущего, не имел сил провести его сквозь сферы смутных субъективных отзвучиваний к непосредственному воплощению ре-

---

\* См., напр.: Незнакомка: «Иль это только снится мне?»; В ресторане: «он был или не был этот вечер; За гробом: «словно здесь, где пели и кадили...»; Из хрустального тумана — пояснительное замечание в скобках: «(в кабинете ресторана за бутылкою вина)» и т. д., и т. д. Тут вскрывается основное различие между символическим переживанием мира и той объективно-религиозной его данностью, которая заставляла Пушкина всегда говорить: «Я помню чудное мгновенье», «Я жду его — он за тобой» и т. д., и т. д.

ального. И, подчиняясь непреложным законам своего развития, слову пришлось отказаться от символических постижений и искать новых путей к миру конкретной действительности. — В этом и был внутренний смысл второго нисхождения слова в поэзии Блока.

Задача, которую он себе ставил в этом последнем устремлении к реальности, была чрезвычайно трудна. Ему предстояло, сорвав с явления покровы таинственных знаменований и намеков, воплотить его в своем значении как объективную данность сознания. Но, освобождаясь из мистического полумрака символического переживания, явление попадало в еще горший плен арелигиозного понятийно-чувственного созерцания, где оно оказывалось уже почти вовсе недоступным поэтическому слову. А между тем единственно правый путь утверждения объективно-религиозного созерцания мира — путь прямого откровения — был закрыт для слова, создаваемого современным поэтом. Перед поэтическим творчеством возникал тупик, из которого, по-видимому, не было выхода.

И тем не менее он нашелся: если в символизме поэт замыкался в кругу субъективности, если прямое религиозное приятие мира было не по силам ему, — «невоскресшему», то перед ним открывался еще один путь — путь преодоления безмерной косности понятийно-чувственного созерцания пафосом отрицания современного явления мира. И по этому страшному пути и повело его слово.

Отвергнув утешения символизма, он, подчиняясь воле вдохновения, все ниже и ниже склонялся к земле, все пристальнее и пристальнее всматривался в непроглядный ужас лживой жизни, все напряженнее прислушивался к странному лязгу костей, доносившемуся сквозь шум злободневных событий, — пока, наконец, разоблаченный от мишурных одеяний и жирных румян, мир действительности не предстал его бесстрашным взорам таким, каким он объективно дан современному культурному сознанию.

И этот страшный мир был пуст и мертв. Поэт увидел пустую и мертвую вселенную; безжизненный волчок, запущенный куда-то, как попало; увидел каменеющую, застывающую природу с большим желтым диском над нею, с мертвыми, пустыми закатами («к эшафоту на казнь осужденных поведут на закате таком»<sup>7</sup>), с постылым криком воронья в безмолвной пустыне. Увидел и жизнь — безумную, бездонную, пустую, с дверью настежь — в непомерную стужу, и странные пляски разряженных мертвецов, одержимых гнусными страстями истлевающей

плоти. И себя он увидел с опустошенным, умирающим сердцем в холоде и мраке бессмысленных дней.

Это не было дешевым разочарованием испуганного пессимизма. — По страшной силе отрицания это было уже религиозным видением. Томившемуся духовной жаждой поэту не было дано узреть мир таким, как он предстоит во всей красоте и радости своего бытия взору верующего, но у него хватило силы религиозно отвергнуть современное явление жизни. И в страстном пафосе этого отрицания совершилось, наконец, преодоление тяжелой косности понятийно-чувственного созерцания данности. Так постигнутый, так пережитый и так отвергнутый мир чувственно утверждаемого бытия — единственная подлинная реальность скептического сознания — стал покорен поэтическому слову.

Теперь оно торжествовало полную победу. Пройдя сквозь сферы мечтательных видений и символических знаменований, слово достигло, наконец, действительности и подчинило ее себе. Оно стало полновластным хозяином всех без исключения содержаний сознания, послушно переходивших в его значение, и перед его творческим самоутверждением исчезли все преграды и границы.

Очистившееся среди испытаний от последних следов лукавства и праздности, упругое и звонкое, словно закаленная сталь, — в полных тоски и отчаяния воплощениях страшного мира и возмездий оно достигает давно уже не виданных в русской литературе степеней совершенства. Отвергая все ухищрения и эффекты, при помощи самых простых средств оно преодолевает косность любого созерцания и легко и свободно, без всякого принуждения, разворачивается в певучий чеканный и сжатый стих. Поэт стал мастером, безграничным властелином своего материала. Но победа эта была куплена дорогой ценой: поэт стал мастером, но человек сторел. Он изнемог на том тяжелом пути безграничного отрицания, куда увлекло его слово в своем непреодолимом стремлении к воплощению конкретной действительности. Поправший былые святыни, убивший свою мечту, познавший ложь и пустоту современной жизни, он задыхался теперь в беспросветном мраке и холоде обступившего его страшного мира. И в предчувствии надвигающейся гибели он понял свою обреченность, и впервые глухая жалоба на свое призвание прозвучала в его поэзии.

Есть глубокий смысл в том, что именно песни о страшном мире Блок посвятил своей Музе. Ведь это она завела его в бе-

зотрадную пустыню, откуда для него не было уже возврата.  
И подлинным трагизмом веет от слов:

Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть.  
Есть проклятье заветов священных,  
Поругание счастья есть.

.....  
.....

Зла... Добра ли? Ты вся не отсюда.  
Мудрено про тебя говорят.  
Для иных ты и Муза и чудо.  
Для меня ты — мученье и ад.  
Я не знаю, зачем на рассвете,  
В час, когда уже не было сил,  
Не погиб я, но лик твой заметил  
И твоих утешений просил.  
Я хотел, чтоб мы были врагами,  
Так зачем подарила мне ты  
Луг с цветами и твердь со звездами —  
Все проклятье твоей красоты<sup>8</sup>.

Он имел право послать ей этот упрек. Ибо всю свою жизнь он оставался ее верным слугой. Ради нее он отрекся от священных заветов, изменил Прекрасной Даме и, порвав с мирным счастьем, ушел в роковую пустыню. Он свершил до конца все, что был в силах, и теперь, когда она, его Муза, торжествовала победу, стоял среди пожарищ обожженный преисподним огнем<sup>9</sup>, истекая кровью из бесчисленных ран, и ждал лишь единой награды — царского савана. Ограбленный и нагой, брошенный без покрова в непомерную стужу бесконечной пустыни, не видя огня впереди, он пророчествовал беспечным об ужасе грядущих испытаний и кликал смерть, напряженно внимая, не зазвучат ли ее призывные трубы.

И среди этих одиноких томлений во мгле наступающей ночи в его израненной памяти начали тихо вставать видения прошлого. Он снова увидел себя молодым, полным силы и веры, — вспомнил синий плащ, в котором ушла она из дому; и ту вспомнил он, что цветет далеко за горами, лесами, за холмами могильными; вспомнил старый дом с розовеющим небом над ним, и бурьян, и колючий шиповник; но — странное дело — эта всплывшая в памяти прошлая жизнь была уже по-иному прекрасна, озаренная светом вечерней любви, утвержденная новой правдой мечты («и мечта права, что нам лгала»<sup>10</sup>). И другие сны еще видел он — видел

день беззакатный и жгучий  
 И любимый, родимый свой край,  
 Синий, синий, певучий, певучий,  
 Неподвижно-блаженный, как рай<sup>11</sup>.

Видел жаркое солнце над дымными далями, свободное, бурное море, слышал рокот прилива в слоистых скалах и чудесные песни в знойной мгле тихой ночи.

И снова эти видения были не похожи на старые: ни на лазурные сны его юности, ни на таинственный шепот символически раскрытого мира, ни на страшные тени мертвой пустыни, где он погибал. Перед ним — как бы в воздаяние за его великий подвиг — в обрывках снов и воспоминаний чуть-чуть засияла вдали та чудесная страна, куда он шел всю свою жизнь, тот свободный и светлый религиозно-оправданный мир, по которому тосковала и тоскует современная поэзия. Но ни дойти туда, ни даже поверить в него у него уже не было сил. Усталому, измученному, во всем сомневающемуся — этот мир казался ему святой ложью воспоминания и недоступной мечтой. И почти сознательно он отвернулся от него, как от искушения.

И тогда — по иронии злой судьбы — ему предстало в той же дикой пустыне иное видение, по внешности более реальное, более явное, перед которым не устоял его отравленный отрицанием, жаждущий чувственно утверждаемого чуда ум.

Так сильна была его тоска по иной жизни, так страстно-враждебно отталкивание от современной арелигиозной культуры, что он не хотел видеть, не хотел понимать, что в страшном шествии отлученных по Мертвому Городу ими руководил все тот же невоскресший мертвец, которого он давно увидал в темных провалах Европейского мира; что они плоть от плоти и кровь от крови старого нигилистического сознания, внутреннюю суть которого они выявляют. Ненадолго он словно поверил, но, конечно, не вере в такое чудо было спасти его... И снова мрак, еще более страшный, более безотрадный сгустился над ним, и снова тоска и отчаяние охватили его опустевшее сердце, пока, наконец, он не услышал так долго жданный таинственный зов...

Такова была его земная судьба. Еще юношей, перед рассветом, он, моляся в минуты темных предчувствий Неведомому Богу, мечтал:

Не ты ли в дальнюю страну,  
 В страну неведомую ныне,  
 Введешь меня — я вдаль взгляну  
 И вскрикну: — Бог! Конец пустыне!<sup>12</sup>

Этой надежде не суждено было сбыться. Он не дошел и погиб на пути, недалеко от цели. Но и то, что он совершил, было огромно. В его поэзии слово вырвалось, наконец, из круга мечты и символических видений и подошло к воплощению конкретной действительности. Правда, оно захватило мир только в созерцаниях религиозного отрицания, но для его свободного становления, для утверждения новых форм поэтического творчества и этого было довольно.

Если суждено возродиться миру европейской культуры, это произойдет только на основе укрепления объективно религиозного сознания. И тогда поэзия вновь обретет давно утраченное сокровище: религиозное приятие мира, в котором он опять станет доступен для поэтического слова. И тогда подвиг Блока будет, наконец, довершен. Но из русских поэтов, которые двинутся на завоевание этого мира, только те достигнут цели, кто будет вечно помнить о нем, самом бесстрашном и смелом, впервые указавшем слову пути из тяжкого плена чувственных созерцаний к религиозно постигаемой действительности.

